



DOI 10.22363/2312-9220-2017-22-2-213-227

УДК 821.161.1

«МНЕ ВАЖЕН НЕ ЧЕЛОВЕК, А ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ТАЙНЕ» (СИМВОЛИЗМ РАННЕГО АНДРЕЯ БЕЛОГО: ТЕУРГИЯ И ЭТИКА ХУДОЖНИКА)

В.А. Сарычев

Липецкий государственный педагогический университет
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
ул. Ленина, 42, Липецк, Россия, 398020

Анализируется процесс формирования эстетики символизма в творчестве А. Белого — идеолога кружка «аргонавтов». Исследование базируется на материале его ранних теоретических публикаций, воспоминаний современников, мемуаристике самого Белого, в которой он не только восстанавливает атмосферу эсхатологических надежд московских соловьевцев на «конец всемирной истории» и перерождение человека, но и подвергает идеи «начала века» неизбежной и горькой корректировке. Подчеркивая, что обнаруженная Белым «антиномия между личной жизнью и жизнью в идеях» оказалась для него непреодолимой (разрыв отношений поэта с Н.И. Петровской), автор статьи в отличие от своих предшественников не снимает за это вины ни с Белого-человека, ни с Белого-теоретика теургического символизма.

Ключевые слова: Андрей Белый, аргонавтизм, Н.И. Петровская, символизм, теургия, «мистерия человеческих отношений», этика

«Есть узловые пункты, стягивающие противоречивые устремления, пересекающие отвлеченные порывы с конкретной биографией: в такие моменты кажется: ты — на вершине линии лет; перебой троп, по которым рыскал, сбиваясь с пути, вдруг являет единство многообразия; что виделось противоречивым, звучит гармонично; и что разрезало, как ножницы, согласно сомкнулось в крепнувшей воле.

Такой момент — 1901 год, ставший праздничным; это год согласия жизни с мировоззрением, встреч с новыми друзьями, первой любви, признания меня — М.С. Соловьевым, Брюсовым, Мережковским, начала биографии “Андрея Белого”, нового столетия, совершеннолетия, роста физических сил» [3. С. 20].

Так писал А. Белый, приступая к изложению своей версии «начала века» и относя к числу «главенствующих осознаний этого года: 1) Откровение Софии, 2) Духа Иоанновой, *белой* зари, 3) осознание, что «уже — *заря*», 4) ожидание Денницы...» «...Кроме того, — добавляет он, — завязываются в этот год встречи с рядом людей, глубоко влиявших на меня около десятилетия и более...» [3. С. 564].

Вспоминая об упомянутом времени двадцать лет спустя, Белый конкретизировал сказанное: «Мы, молодежь соловьевского толка, являлись лишь малою горстью людей, ощущающих зарю новой эры. “Соловьевство” нам было гипотезой оформления, а не догмой. Центр бесед — зимние вечера за чайным столом

Соловьевых; здесь тесный кружок (М.С. и О.М. Соловьевы, Сережа, их сын, я и кто-нибудь из родственников) собирался почти ежедневно...» [5. С. 25].

Белый начала 1920-х годов стремится, разумеется, приглушить присущий Белому начала века восторженный тон, который сопутствовал всякому упоминанию о философе, а потому и пишет: «В истолковании “соловьевства” мы были конечно же “реалисты”»; мы видели в лирике Соловьева вещание о перерождении человека и изменении органов восприятия мира» [5. С. 25]. Но как бы ни хотелось позднему Белому поиронизировать над своим юношеским мистицизмом, реализма-то в его тогдашнем умонастроении не было. Гораздо правдивее в этом отношении следующие его строки: «...пережили [мы] в то время все крайние выводы из соловьевской идеи; 1901 год для меня и Сережи (племянника Вл. Соловьева) прошел под вещающим знаком Соловьевской поэзии...» [5. С. 26].

Понятно, что по прошествии многих лет Белый психологически сгущает духовную атмосферу столь важного для него 1901 года, однако учитывая это обстоятельство, нельзя не признать, что воссоздаваемая усилиями его памяти эпоха была временем наиболее острого и глубокого осмысления им заветов Вл. Соловьева. Даже сатирическая тема его второй симфонии, призванная согласно авторскому замыслу выявить крайности мистических увлечений московских соловьевцев, получила воплощение не без учета опыта Вл. Соловьева. Некогда и сам поэт-философ, страшась догматического заострения самой интимной и дорогой его сердцу темы, не побоялся подвергнуть ироническому остраннению свои софиологические штудии в комедии «Белая лилия».

Белый осознавал, что Вл. Соловьев с пониманием отнесся бы к его сатирическому гротеску, ибо жало произведения нацелено было на то, что должно было стусеваться и умереть, уступая дорогу чистоте апокалиптических чаяний. Вот почему автор симфонии заставляет Вл. Соловьева, выведенного в качестве ее персонажа, выразить уверенность в плодотворности предпринятых московскими мистиками поисков, а мистические пережесты их мысли объяснить трудностью и необычностью избранного ими пути.

«...“Симфония” есть наша жизнь; нам казалась она — впереди...» [5. С. 27] — напишет годы спустя Белый. Все это время он находился под сильным впечатлением от лекции Вл. Соловьева «О конце всемирной истории», а слова Мережковского: «Или мы, или никто» звали к конкретным действиям. «Казалось: проблема мистерии и гармонизации человеческих отношений уже подошла и вот-вот прямо в руки дается...» [2. С. 249] — вспоминал он о своем мироощущении этой поры. Белый разрабатывает стратегию своей дальнейшей деятельности, сосредоточиваясь преимущественно, по его собственным словам, на «максималистическом выводе к жизненной практике из философии Соловьева» [2. С. 209]. Все его работы тех лет: «По поводу книги Д.С. Мережковского “Л. Толстой и Достоевский”. Отрывок из письма» (1903), «О теургии» (1903), «Священные цвета» (1903) и др. — так или иначе касаются данной идеи. Итоговой в этом ряду следует признать статью «Символизм как миропонимание» (1904), в которой было предпринято наиболее широкое и глубокое обоснование символизма как теургического искусства.

С точки зрения теоретика, символизм осознал «относительность образов» искусства, превращая художественные образы в «метод познания, а не в нечто самодовлеющее». «Назначение их, — считает Белый, — не вызвать чувство красоты, а развить способность самому видеть в явлениях жизни их преобразовательный смысл» [1. С. 226]. Короче, он был убежден, что искусство должно стать неким средством для пробуждения в обществе религиозной жизни, его обязанность — «творить жизнь», т.е. преобразовывать ее в соответствии с христианским идеалом. «Приканчивается символизм, начинается воплощение» [1. С. 126], — скажет он об этом в статье «Священные цвета». Иными словами, «искусство, приготовив человечество к тому, что за ним, должно исчезнуть. Новое искусство, — полагал Белый, — менее искусство. Оно знамение, предтеча», а потому «символизм... [и] является воистину единственным методом практического осуществления человеческого идеала» [1. С. 226—227, 107]. Вспоминая о начале своей теоретической деятельности, Белый писал: «...философия практического идеализма вставала во мне...» [5. С. 102—103].

Его «практический идеализм» обрел воплощение в идейной платформе так называемого кружка «аргонавтов», ядро которого поначалу, то есть в 1903 году, составляли студенты-естественники и математики. По свидетельству того же Белого, кружком в точном смысле этого слова данное сообщество можно было назвать лишь с большой степенью условности, поскольку «аргонавты» не имели даже устава. Имя кружку дал Л.Л. Кобылинский (Эллис), отождествив группу юных москвичей с мифологическими героями древности, отправившимися на корабле «Арго» в мифическую страну за золотым руном. Своеобразным гимном «аргонавтов» стало вошедшее в книгу «Золото в лазури» (1904) стихотворение А. Белого «Золотое руно» (1903) с доминирующим в нем мотивом:

«За солнцем, за солнцем, свободу любя,
умчимся в эфир
голубой!...» [6. С. 74].

Неслучайность данного мотива как для поэта, так и для кружковцев, выясняется из следующего высказывания Белого: «“Аргонавт”, — убеждал он читателей, — психологический тип моего времени <...>

В нашем кружке не было общего, отштампованного мировоззрения, не было догм... соединялись в исканиях, а не в достижениях; и потому: многие среди нас оказывались в кризисе своего вчерашнего дня; в кризисе мировоззрения, казавшегося устаревшим; мы приветствовали его в потугах на рождение новых мыслей и новых установок...». Развивая свою идею, мемуарист утверждал, что большинству «аргонавтов» «говорил (то есть был близок. — В.С.) символизм», однако их отличала «иная тональность подхода к произведениям, связанным с символизмом...» Она-то, по мысли Белого, «резко» отделяла «аргонавтов» от «старших» литераторов, «группировавшихся вокруг Валерия Брюсова <...> там провозглашали символизм как литературную школу <...> Проблемы школы не интересовали нас <...> нас интересовала проблема новой культуры и нового быта, в котором искусство — наиболее мощный рычаг, но которого формулы отчеканятся в будущем... наша задача — принести посильную лепту на алтарь этого будущего...» [3. С. 125—127].

По сути, мемуарист поднимает здесь и поныне не вполне проясненную проблему: кого из символистов следует считать символистами подлинными. У Белого нет сомнения в том, что кружок «аргонавтов» «был кружком “символистов” — “par excellence” символистов <...> семилетие “аргонавтизм” процветал (Белый имеет в виду 1903—1910 годы. — В.С.), его нотой окрашен в Москве “символизм”; может быть “аргонавты” и были единственными московскими символистами среди декадентов» [5. С. 46].

В «Начале века» он несколько смягчает жесткость данного высказывания, но даже и тут автор воспоминаний убежден, что истина принадлежит только теургическому символизму, который отнюдь не ограничивает свои притязания рамками эстетики. Так, в «Воспоминаниях о Блоке» не вполне точно цитируя первое стихотворение из блоковского цикла «Молитвы», Белый пишет: «Стихотворенье пронизано аргонавтическим воздухом; переживанья искателей Золотого Руна отражает оно; строчки же “молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь” передают ту идею конкретного братства, которую мы пытались осуществить». «Мы — не Блок в союзе с Белым, а Белый и «аргонавты». Блок, вынужден был с горечью уточнить мемуарист, «чуждался поставленной мною задачи: сплотить коллектив, создать ритм, подготовить мистерию человеческих отношений...» [5. С. 48, 73].

Уже из переписки с Блоком, длившейся с января 1903 года, ему стало понятно, что петербургский «брат» не вполне разделяет его позицию, однако приглашая Блока в Москву, Белый рассчитывал поправить положение, развернув перед ним «свиток» своих дел. Вполне понятно, что «аргонавтический проект» воспринимался им в качестве одного из самых серьезных и впечатляющих аргументов в пользу теургии как почвы для будущего братства.

Началось все прекрасно. Заупокойная обедня в розовом соборе Новодевичьего монастыря и панихиды на дорогах всем могилах С.М., В.С., М.С. и О.М. Соловьевых завершились в доме дочери и сестры умерших В.С. Поповой. Но в этом родственном кругу оказался и застрельщик «аргонавтизма» Эллис, не дававший петербургскому гостю ни минуты покоя. Блок, отметил зоркий глаз Белого, «потускнел от теней, проостряющих, как у Пьерро, длинный нос; он потом признавался:

— «Нет, знаешь ли, Боря: Льва Львовича я выносить не могу!»

И понес по годам этот тост у Поповых» [3. С. 330].

Фраза: «...понес по годам...» означает: сделал Эллиса одним из персонажей «Балаганчика» — ведь и Блок-«Пьерро» оттуда же. «Балаганчик» не был еще написан, однако «вспоминатель Блока» Белый знал, что он *будет* написан, и вот получалось, что «аргонавт» Эллис бестактностью своих манер, «принципиальностью лозунгов», требованием от гостя не менее принципиальных и — одновременно — «немедленных... ответов» на неуместные вопросы бездарно влипал в историю, с каким-то маниакальным усердием желал оказаться в числе мистиков будущей блоковской лирической драмы.

На встрече у Поповых Белый испытывал боль за свое детище. В поведении Эллиса Белый различил то, что когда-то осудил во 2-й «Симфонии»: «безумие секты и бред горячки». Знать бы ему на той отложившейся в его памяти встрече

у Поповых, что всего лишь через несколько часов судьба нанесет по его претензии быть «дирижером сознаний» сокрушительный удар. Здесь никак не обойтись без обширной цитаты, ибо то, что изображает Белый, и впрямь страница из блоковского «Балаганчика».

«...Вечер у “Грифа” (владельца этого издательства — С.А. Соколова. — В.С.), — вспоминает Белый, — начавшийся тотчас же после Поповых, еще раз притиснул меня к моей боли. <...>

Я — думаю: он был разгром для меня...»

Случилось же вот что. «Присяжный поверенный Соколов, только что попавший к спиритам», «тарашась на Блока глазами», вдруг заявил, что, кажется, в его квартире «с недавнего времени» «начались... стуки». Разумеется, «спиритические».

«Я — чуть не в пол, — добавлял мемуарист, — как Петровская (Нина Ивановна, в то время еще жена С. Соколова. — В.С.): “аргонавтический” фейерверк иль —

Все кричали у круглых столов,
Беспокойно меняя место» [3. С. 330—332].

Белый цитирует написанное 25 декабря 1902 года стихотворение Блока «Все кричали у круглых столов...» не только потому, что оно хорошо передает атмосферу нарисованной им здесь картины. Думается, он руководствовался в данном случае и целью более важной, различив в этом стихотворении мотив, который будет положен Блоком в основу сюжета его «Балаганчика». Как мы помним, действие в этой драме начинается со сцены, в которой «мистики обоего пола» воспринимают «необыкновенно красивую девушку» Коломбину не как невесту Пьеро, а как символ смерти и своими мистическими бреднями запутывают несчастного героя. Мистика подменила собою жизнь, спутала все ее карты и, более того, — вытеснила ее со сцены — вот вывод автора «Балаганчика». Воссоздавая эпизод из своего собственного «балаганчика», Белый хочет показать, куда завел его «аргонавтический зодиак». Подводя итоги воссозданному силой его памяти (и таланта!) злополучному случаю из быта «аргонавтов», он напишет: «Тот вечер сыграл в моей жизни крупнейшую роль, провалив навсегда, окончательно, “стиль”, из которого я хотел высечь мелодию искристого социального тока; так вот оно, *новое качество* в химии душ, в контрапункте сплетенья людей? Не гармония, а — *стол трясется*”. Мистерия жизни? Мистерия — мышь родила <...>

И после в годах я лишь вздрагиваю, слыша слово “*мистерия*”: и в 906, вспомнив про “грифское” бредище, я написал: “*Гора родила мышь... Кто-то на вопрос хозяйки... “чаю?” крикнул: “Чаю воскресения мертвых”... В одном доме оказалась просахаренной мебель; нельзя было садиться в кресла: везде липло*».

Проваливался в этот вечер перед Блоками “аргонавтизм”; я сам перед собою давно провалился; в истории с Н* * » [3. С. 332].

О том, как и почему Белый «провалился» «в истории с Н* * » (этим знаком он пользуется, когда заговаривает о своих сложных отношениях с Н.И. Петровской) и что это была за «история», — далее. Пока же заметим, каких нравственных усилий потребовало от Белого признание в «провале» «аргонавтической» идеи да к тому же еще перед Блоком. Не забудем также и о том, насколько важно было ему

подтвердить свой status quo лидера московских соловьевцев в глазах петербургского гостя. Тем более что обретенный «брат» на этой идее настаивал, и к тому же она совпадала и с его собственным тайным желанием. Теперь же получалось, что «доверия» Блока он не оправдал. И никакая он не центральная фигура литературной России, а просто-напросто банкрот.

«Из отдаления, — писал он в «Начале века», — 1904 год мне видится очень мрачным: он мне стоит как антитеза 1901 года; я неспроста охарактеризовал 1901—1902 годы годами “зари”; в те годы мне все удавалось; я чувствовал под собой почву; я жил расширенными интересами; с 1904 года до самого конца 1908 я чувствовал, что почва из-под ног ускользает...» [3. С. 449].

Белый всегда крайне неохотно брал вину на себя. Так же поступает он и в данном случае, считая себя фатально вовлеченным в антитезу «заревому» 1901 году. Тем не менее он был вынужден все же признать: «...колориты зари изменялись... В душах теплился отблеск былой лучезарности; обобыденились зори; период свечения, вызванный распространением вулканической пыли от мартиникского извержения в земной атмосфере — кончился... И тускнение атмосферы земной сопровождалось тускнением атмосферы душевной...» [5. С. 76]. Эсхатологическим чаяниям на «скорый конец» исторического процесса не суждено было сбыться, приходилось, следовательно, рассчитывать только на самих себя и — самое страшное — считаться с вмешательством этой самой «всемирной истории» в собственные дела и идеи. Короче говоря, праздник закончился, начались будни. Для максималиста Белого (впрочем, как и для всякого максималиста) это было страшным испытанием. В опубликованной как раз в эту пору первой его стихотворной книге — «Золото в лазури» он именует себя неудавшимся пророком и даже — «лжехристом». В последнем разделе названного сборника — «Багряница в терниях» — эти мотивы приобретают драматическое звучание, весьма напоминающее эмоциональную окраску многих образов заключительного цикла «Ущерб» блоковской книги «Стихи о Прекрасной Даме». Реальная жизнь разрушала задушевную мечту. «...“Мистерия”, — с горечью признавался он, — подменилась хором “аргонавтов”, “орхестрой”, не имеющей ни общественности, т. е. широких слоев, вовлеченных в интересы, нас связывающие, ни подлинной церковности: “орхестра” разлагалась тем, что новое, нас соединяющее, было в каждом лишь искрой, а прошлое, ветхое, из которого каждый приподнимался к “Арго”, перевешивало своим грузом грядущее, которое виделось ведь зарею» [2. С. 258—259].

«Порывание... к мистерии» в отношениях с Ниной Ивановной Петровской хотя и было всего лишь звеном в «аргонавтической» утопии Белого, однако разрыв связей с этой женщиной он пережил очень болезненно. После всего сказанного понятно почему.

Помня о том, что мемуаристы часто по тем или иным причинам оказываются людьми пристрастными и, следовательно, вполне доверять их воспоминаниям никак нельзя, послушаем все же, что говорит по этому поводу В. Ходасевич, познакомившийся с Белым, по собственным словам, «в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее — в ту самую пору, когда совершался между ними разрыв». «Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать, — свидетельствует он. — Однако в этой области с особенною наглядностью

проявлялась и его двойственность... Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаящую всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и, если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратное: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед “падением” ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, — но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили.

Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею поврал в самой унижительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому — и в тайной надежде его вернуть, возбуждив его ревность» [10. С. 85, 86].

Можно, конечно, заметить, что, рассказывая об отношении Белого к женщинам и, в частности, к Н. Петровской, Ходасевич опирается на свидетельство самого поэта, ибо к тому времени, когда создавался процитированный очерк, его автор был уже знаком с опубликованными в берлинском журнале «Эпопея» беловскими «Воспоминаниями о Блоке» и с содержанием его книги «Начало века». Необходимо помнить также и о том, что Ходасевич дружил с Н. Петровской в Москве и эмиграции (трагической ее судьбе, не последнюю роль в которой сыграл не только Брюсов, но и Белый, он посвятил свои знаменитые воспоминания «Конец Ренаты»), поэтому сведения по интересующему его вопросу мог получить, как говорится, из первых рук. Наконец, он и сам хорошо знал Белого, неоднократно слышал многочасовые его рассказы об отношениях с Блоком и Л.Д. Блок, оттого нетрудно предположить, что у него сложились прочные и, может быть даже, вполне обоснованные убеждения относительно характера Белого. Вот почему автор считает, что свидетельству Ходасевича можно доверять.

С учетом, конечно, «правды» Белого, которая, разумеется, в полном ее объеме была неведома Ходасевичу, а потому и не бралась им во внимание.

«Правда» же эта состоит в следующем. Главка «“Орфей”, изводящий из ада», в которой Белый рассказывает о Н. Петровской и своих отношениях с нею, принадлежит, по нашему мнению, к числу лучших разделов «Начала века». Она резко выделяется из контекста данной книги не только отсутствием весьма нередкого для художественной манеры Белого-мемуариста предвзятого отношения к объекту изображения, но даже окрашена теплым чувством к памяти этой несчастной женщины. Нет, своей вины перед нею Белый не ощущает, иначе он перестал бы быть Белым. Зато ему удалось донести до читателя представление о драматических изломах характера Нины Ивановны, порожденных как ее собственной больной психикой, так и нравственной ущербностью окружающей ее декадентской среды, яды которой с присущей ее натуре страстностью она жадно в себя впитывала. На основании сказанного автор бы смело поставил очерк Белого в один ряд с «Концом Ренаты» Ходасевича.

Но есть еще одна правда взаимоотношений Белого с Н. Петровской, которая, собственно говоря, автора и занимает.

«Мне важен не человек, а его отношение к *Тайне*. Только за *Тайну* люблю я людей» [8. С. 556]. Эти слова взяты автором из его письма к А.А. Кублицкой-Пиотух, отправленного из Москвы в Петербург 12 января 1906 года, т.е. в самый разгар мучительных взаимоотношений Белого с Л.Д. Блок. Между этими двумя драматичнейшими эпизодами из жизни Белого существует глубинная связь, о которой еще предстоит рассказать особо. Пока же — о Белом и Петровской.

Бог весть, что он понимал под словом «Тайна». Но то, что он ассоциативно связывал «тайну» мира с его сокрытой от глаза обывателя сущностью, его первоицей, можно считать вполне установленным фактом, а потому и не вызывающим никаких сомнений. Связь человека с этой «тайной» оказывалась для него мерилom ценности человека. Человек, не воплощающий в себе «тайны» был для него неинтересен. Заинтересовать его собой он мог только выказав стремление к этой «тайне» приобщиться. Однако одного такого стремления здесь было явно недостаточно. Надобен был наставник, учитель, этакий гуру, который оказался бы способным возжелавшее «тайны» существо к ней приобщить. Таким человеком Белый считал себя. Он был теургом, а следовательно, — и «дирижером сознаний».

Н. Петровская принадлежала к «аргонавтам». Но Белый прочил ей и другую роль.

Однако — все по порядку.

«С осени 1903 года, — вспоминал автор «Начала века», — совсем неожиданно вырастает моя дружба с Н^{* *}; ее почва — моя усталость; и — мое сомнение, заставлявшее меня думать, что я, беспомощный, вооружен опытом мудрости, позволяющей врачевать души...». Возмнив о себе как о «врачевателе душ» или — что то же — «дирижере сознаний», Белый набросал однажды на листке этакий проект, назвав его — не без претензий на роль тайновидца мира — весьма оригинально: «Этапы развития нормальной душевной жизни». Добросовестно «изложив» эти этапы и хорошенько их себе уяснив, он начал «излагать» их и другим людям. С ним соглашались, даже одобрительно похлопывали его по плечу, что только усиливало уверенность Белого в себе. Очередь дошла и до Н. Петровской.

«Изложив свои “правила” жизни Н^{* *}, — продолжал мемуарист, — я был потрясен эффектом, который произвели в ней они; не говоря прямо, что выбирает меня “учителем жизни”, она заставила, в сущности говоря, одно время стать таким». Анализируя свои взаимоотношения с Н. Петровской, Белый признавался, что эта истерзанная декадентским бытом, больная женщина «питала» его «утопией о себе как целителе ее души», и он будто бы фатально не осознавал, что «утверждала» она его в этой миссии «нездорово». Что означали его слова, понятно из дальнейшего изложения сюжета этой истории. «...Видя ее одержание чужими словами, — исповедовался Белый, — я, нуждающийся в назидании, принимался ее назидать и “спасать”: от нее самое; и, получая впечатление, с какой мгновенною быстротой ее излечивают мои правила жизни, ей преподаваемые, уходил с благодарностью к ней за то, что она укрепила во мне доверие к моей “мудрости”; я серьезно вообразил, что одна из моих главных миссий — лечить эту душу, подпадавшую под действие всех случайно на нее дувших ветров». Дружба день ото дня росла, «заходы» к Н. Петровской «учащались до почти ежедневного появления; беседы вдвоем удлиннялись...» Побуждаемый исходящим от Н. Пе-

тровской одобрением его действий Белый вполне осознанно начал играть роль Орфея, «изводящего Эвридику из ада...» «...Вместо ж этого, — иронизировал он, — усугубив “ад” жизни Н**, я сам попался в “ад”; и потом позорно бежал от всех и “раев” и “адов”... в Нижний Новгород, к другу (Э.К. Метнеру. — В.С.).

— “Выручайте!”» [З. С. 304, 305, 306, 309].

В изложенной здесь «истории с Н*» Белый самокритичен, но в меру. Всея драмы предпринятого им опыта жизнестроительства, объектом которого стала Н. Петровская, он не раскрывает. Относительно того, что он «усугубил “ад” жизни Н*», сказано слишком мягко. Повторяем: Н. Петровская была, безусловно, большим человеком. Возможно, и без вмешательства Белого в ее судьбу жизнь Нины Петровской закончилась бы трагически. Но вышло так, что Белый толкнул ее в объятия Брюсова. Продолжая любить своего «Орфея», она раздваивалась между ним и Брюсовым. Количество алкоголя и морфия увеличивалось, мысли о самоубийстве ее не только не оставляли, но приобрели навязчивый характер. Подаренный ей Брюсовым по собственной ее же просьбе револьвер чуть было не совершил свое роковое дело, однако вместо Белого (следствие истерической горячки) Н. Петровская направила его в сторону Брюсова. К счастью, револьвер дал осечку. Инцидент замяли. Произошло это весной 1907 года.

Когда заходит разговор о жизнетворчестве символистов, почему-то забывают, что это была не простая эстетическая игра, не очередная эстетическая забава литературных гурманов. «Строить» они хотели в жизни и самое жизнь. А жизнь — это прежде всего люди и их взаимоотношения друг с другом. Именно они — в соответствии с замыслом символистов-жизнестроителей — должны были быть брошены ими в костер жизнетворческих экспериментов, оказываясь, таким образом, в роли материала для будущей грандиозной постройки, становясь заложниками и жертвами высокой идеи. Н. Петровская попала под пресс ее жерновов. Брюсов увидел в ней свою Ренату, Белый — Эвридику. «Ад» ее жизни усугубился еще и потому, что она добровольно взошла на жертвенный костер и захотела в нем заживо сгореть, полагая, что его пламя — очистительный и творческий огонь.

Однако рассуждая о судьбах таких людей, как Н.И. Петровская и даже — Л.Д. Блок, ни в коей мере нельзя забывать и о том, что и сами творцы экспериментов не в меньшей степени становились заложниками своих замыслов. Не исключая, конечно, из этого числа и А. Белого.

В «Начале века» он почти не коснулся интимной подоплеки своих взаимоотношений с Н. Петровской, а потому и не рассказал читателю полной правды о своем «падении» и глубине этого «падения». Дело-то заключалось в том, что в этой истории «белый знаменосец» (не герой «московской» «Симфонии» Сергей Мусатов, которого ее автор Б. Бугаев наградил этим именем, а он сам) не удержался на высоте своей идеи, а упал с неба на грешную землю. Говоря проще, Белый «осквернился с женой» — женщиной Н. Петровской.

Вспоминая в «Материале к биографии» об осени 1903 года, он пишет: «...я в себе ощущал в то время потенции к творчеству “ритуала”, обряда; но мне нужен был помощник или, вернее говоря, помощница — sui generis гиерофантита; ее надо было найти; и соответственно подготовить; мне стало казаться, что такая родственная душа — есть: Нина Ивановна Петровская. Она с какой-то особою

чуткостью относилась ко мне. Я часто к ней стал приходиться; и — поучать ее <...> она становится мне самым близким человеком, но я начинаю подозревать, что она в меня влюблена; я самое чувство влюбленности в меня стараюсь претворить в мистирию <...> я не знаю, что мне делать с Ниной Ивановной; вместе с тем: я ощущаю, что и она мне нравится как женщина...» К февралю 1904 года «произошло то, что назревало уже в ряде месяцев, — мое падение с Ниной Ивановной; вместо грез о мистрии, братстве и сестринстве оказался просто роман. Я был в недоумении: более того, — я был ошеломлен; не могу сказать, что Нина Ивановна мне не нравилась; я ее любил братски; но глубокой, истинной любви к ней не чувствовал; мне было ясно, что все происшедшее между нами, — есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Ниной Ивановной я рассматриваю как падение; я видел, что у нее ко мне — глубокое чувство, у меня же — братское отношение преобладало; к нему примешалась чувственность; не сразу мне это стало ясно, поэтому не сразу все это я мог поставить на вид Нине Ивановне; чувствовалось — недоумение, вопрос; и главным образом — чувствовался срыв: я ведь так старался пояснить Нине Ивановне, что между нами — Христос; она — соглашалась; и — потом, вдруг, — “такое”. Мои порывания к мистрии, к “теургии” потерпели поражение» [3. С. 634—635, 635—636].

В статье «Памяти Андрея Белого», принадлежащей к числу наиболее глубоких исследований его творческого феномена, Ф. Степун заметил: «Одно никогда не чувствовалось в Белом — корней. Он был существом, обменявшим корни на крылья». Всю свою жизнь поэт и теоретик символизма был, в сущности, занят «изображением “прыжка над историей”». «В на редкость богатом и всеохватывающем творчестве его есть все, кроме одного: в творчестве Белого нету тверди, причем ни небесной, ни земной...» Еще одно наблюдение критика: «...всю свою творческую жизнь [он] прожил в сосредоточении на своем “я”; и только и делал, что описывал “панорамы сознания”. Все люди, о которых он писал, были в конце концов лишь панорамными фигурами в панорамах его сознания» [9. С. 174, 185, 169, 171].

В этих наблюдениях Ф. Степуна нет ничего обидного для Белого. Однако скажем и другое: недостатки писателя суть следствие его достоинств. Если, к слову, даже такие люди, как Блок, являлись «панорамными фигурами» в «панорамах сознания» Белого-мемуариста, то что же можно утверждать на этот счет относительно Н. Петровской? Ответ на данный вопрос настолько очевиден, что его не следовало бы и поднимать. Как, впрочем, и Ходасевичу, весьма проницательно размышлявшему об особенностях отношения Белого к женщинам, не следовало бы видеть в нем только гоголевского Подколесина. Да, Белый сбежал в Нижний к «старому другу» Метнеру, однако сделал это не только потому, что убоился вымотавшей его нервы сложности своих взаимоотношений с Н. Петровской, и не потому, что его мать, имевшая накануне тяжелый разговор с нею, отправила его из Москвы в Нижний Новгород от греха подальше. Дело заключалось еще и в том (данное обстоятельство для Белого было решающим), что эстетическая система, посредством которой он обосновывал теургический принцип, дала чудовищный сбой. И впрямь, как тут было не расстроиться: надеялся обрести в юной и, судя

по всему, привлекательной женщине «гиерофантиду», верного друга и помощницу в деле претворения жизни в мистерию, даже Христа впутывал в свои отношения с нею, напоминая в этом смысле З. Гиппиус в ее эротическом (и не только) диалоге с Д.В. Филосововым, а вышел заурядный «роман». Было бы еще объяснимо, если чувственность оказалась бы проявленной одной только женской стороной (хотя Н. Петровская твердо стояла и за «мистирию», это видно из ее воспоминаний), но самое страшное: перед чувственными соблазнами не устоял и сам «теург».

Ситуация, в которую неожиданно для самого себя (так, по крайней мере, он считал) был втянут Белый, очень напоминала ситуацию, которую накануне свадьбы пережил Блок. Там, правда, боготворимая Прекрасная Дама официально была объявлена невестой. Тем не менее ее рыцарь трудно вживался в роль жениха, а потом — мужа. Да так, по сути дела, и не вжился, если исходить из системы традиционных критериев брачной жизни, на которую опиралась Л.Д. Блок. Хрупкий мир в каждую минуту мог быть взорванным. В отличие от Блока Белый не имел по отношению к Н. Петровской никаких обязательств, исключая разве что нравственные. Данное обстоятельство в житейском смысле упрощало ситуацию. Однако житейская сторона вопроса волновала его в гораздо меньшей степени нежели мировоззренческая. А если и волновала, то лишь в том смысле, что житейское и бытовое начала перешли границы, за которые в соответствии с установленным для них статусом заходить не могли. В результате подверглась разрушению иерархическая шкала ценностей: «верх» и «низ», осознаваемые «белым знаменосцем» как полярные величины, поменялись местами, порождая хаос. Белому почему-то (впрочем, понятно, почему) не пришло в голову, что жизнь способна взорвать установленные разумом нормы. Как юноша двадцати трех лет отроду он имел право испытать и страсть, но как теург, «обменявший корни на крылья», давно уже мечтающий о «прыжке над историей», он эту возможность исключал. По одну сторону границы — ценности «высокие»: «мистерия жизни», теургия, «гиерофантида» наконец; по другую — «низкие»: страсть двадцатитрехлетней чувственной женщины и даже ее любовь к нему. Или — или, середины тут для Белого не существовало. Н. Петровская — и «гиерофантида» и любовница одновременно?.. Такое смешение или смещение двух порядков жизни представлялось ему самым настоящим кощунством. По сути дела, это и есть кощунство, однако Белый подходил к подобному «синтезу» «верха» и «низа» с мерками абсолютных величин. Он был существом не только «обменявшим корни на крылья», но еще и человеком, «корни» и «крылья» друг другу противопоставившим. «Небо» для него всегда оставалось важнее «земли». «Роман» с Н. Петровской он считал своей изменой «небу», а потому и воспринял его как свое «падение» или того хуже — «провал». Но вот что любопытно: в «провале» этом он обвинил не жизнь, ее, так сказать, стихийное безначалие и беззаконие, а — себя. «...Юношеский “налет” 1901 года на все области культуры, — вспоминал Белый, — окончился тяжким охом и стоном разбитого авиатора <...>

Главная... антиномия была антиномией между личной жизнью и жизнью в идеях; именно в этом злосчастном году (1904-м. — В.С.) рухнула надежда моя

гармонизировать свою жизнь; “творец” собственной жизни оказался банкротом в инциденте с Н* *...» [3. С. 452—453]. В книге «Почему я стал символистом...» о том же сказано несколько иначе — первоначальное отчаяние сменилось уверенностью (результат десятидневных «сидений» с Метнером), что положение можно выправить: «Коммуна, волимая с 1901 года, переродилась во мне в сумасшедший дом; я убегаю из Москвы в Нижний Новгород»; позднее строчки «*Пепла*» отразили это бегство: «Я бросил грохочущий город»; этот город недавно еще виделся городом Солнца: утопией о *коммуне*.

«В Нижнем я оправляюсь несколько от ряда ударов, нанесенных моим утопиям о мистерии, многострунности в органически развертываемой новой общественности, к которой должен причалить “*Арго*” символизма.

Возвращаюсь из Нижнего, опустив забрало: лозунг “теургия” спрятан в карман; из кармана вынут лозунг: “Кант”». Белый садится за книги, чтобы «еще раз перепроверить свои теоретические позиции...» [4. С. 437, 438].

Очень любопытные и крайне характерные для Белого признания! Как поступил Блок, когда начал испытывать «кризис сознания», когда под напором жизни, как и в случае с Белым, соловьевские его чаяния стали давать трещину? Он «открыл», точнее, — начал открывать свое сердце жизни. Жизнь, заявляющая о себе уже на страницах его первой книги, не вполне была выверена с нравственной точки зрения, но то была все-таки жизнь. Белый же, заявляя о том, что испытал подлинные страдания от возникшей в его сознании «антиномии между личной жизнью и жизнью в идеях», склонился не в сторону жизни, а взялся за «перепроверку» прежних своих идей. Конечно, под воздействием драматических переживаний реальная действительность стала окрашивать в свои тона его новые стихи, вошедшие позднее в лучший поэтический сборник Белого — «*Пепел*», но — увы! — научная методология и теоретическая система продолжали ему казаться вещами более значительными, чем мир и люди вокруг. Он по-прежнему верил, что модернизированная эстетическая концепция способна придать вектору жизни нужное направление.

Однако так уж была устроена у него голова, что без «системы», без «логики» он обходиться не мог, и всякий человек, который «переплескивался» через «логику», бывал для него подозрителен (Н.И. Петровская, например). Этот «дирижер сознаний» всегда хотел иметь (и имел) перед собой партитуру, в которую заглядывал, чтобы сверить с ней и выверить свои действия.

В этом отношении Белый — откровенный антагонист Блока. Он был человеком оптимистического мировосприятия. Язык не поворачивается, чтобы назвать его трагической личностью, в своих поэтических и прозаических произведениях он часто только раскрашивал (или окрашивал) жизнь в драматические тона. По этой причине он и Блока не мог понять и принять в границах именно блоковской системы ценностей, а если и понимал, принимал или отвергал, то делал это с позиций своей собственной аксиологии. Не боясь вызвать резкие нарекания со стороны его почитателей и исследователей и надеясь не потревожить его память, можно даже сказать, что он был в некотором роде систематиком и «комполитором». Так, при всей внешней хаотичности его романов (особенно «*Петербург*»)

и акцентированно иррациональном характере переживаний их героев, и те и другие очень рационально сконструированы. Сознание Белого предельно мифологизировано. Если он, по известному определению М. Цветаевой, и «пленный дух», то дух, плененный мифологией. Жизнь как-то мало проникала в его художественные произведения и эстетические построения, а если и проникала, то в художественном мире Белого она приобретала мифологизированные очертания. Он и личность Блока мифологизировал (как, впрочем, и личности многих современников), и этого «своего», мифологизированного, Блока любил или боролся с ним. Блоку и в голову не могло бы прийти желание стать «организатором сознаний» (человек «трагического мирозерцания» не способен поверить ни в возможность, ни в полезность подобного шага), Белый же эту идею лелеял в своем сердце много лет. Не только Н. Петровскую, но и Блока он пытался «организовать», выпестовать и воспитать в своем вкусе — его сознание «организатора» и «дирижера» долго не хотело верить, что это невозможно. Жизнь часто и нещадно Белого била, рушилась его надежда на теургию и коммуны единомышленников, однако вместо того, чтобы пойти ей навстречу, воплощая в действительность собственные идеи об искусстве как «искусстве жить (социально и индивидуально)» [3. С. 130] и тем самым признавая необходимость «перехода» (для себя и для своих сподвижников) «от... абстрактного взгляда на жизнь... в область праксиса» [5. С. 102], он тем не менее предпринимал все новые и новые попытки обновления теории символизма, не имея сил выйти за пределы «литературного ряда».

В данном случае можно было бы указать Белому на противоречия внутри его эстетической системы, если бы он не воспринимал символизм в качестве универсального метода, одинаково пригодного как для искусства, так и для жизненного строительства. Провозглашая в теории поход против эстетизма, т.е. протеста против смешения искусства и действительности, на практике он поступал ровно наоборот, подобно всем символистам выстраивая жизнь (в том числе и собственную) по законам искусства. В качестве примера здесь может послужить судьба той же Н. Петровской. Теургическая греза А. Белого отвела ей роль «гиерофантиды» задуманной им «аргонавтической» «коммуны», роль, ничего общего с реальным потенциалом ее личности не имеющую. То же самое, по сути, произошло с нею и в ту пору, когда ошеломленная вероломством Белого она, любовница В. Брюсова, воображением художника была возведена на пьедестал героини романа «Огненный ангел». Самое существенное для автора статьи в данном случае состоит в том, что навязанные Нине Петровской (не без согласия на то с ее стороны) личины оказались для «бедной Нины» гораздо значительнее, чем ее собственное лицо, а потому она проживала (и прожила) свою жизнь, сообразуясь с законами символистского искусства. Сделало ли подобное насилие над ее душой эту женщину более счастливой? Ответ на прозвучавший вопрос слишком очевиден, чтобы о нем рассуждать. Вот почему, размышляя о символизме и теургии, необходимо помнить о словах А. Блока: «Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком» [7. Т. 5. С. 436].

© Сарычев В.А., 2017

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] *Белый А.* Арабески: Книга статей. М.: Мусагет, 1911. 504 с.
- [2] *Белый А.* Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // Александр Блок в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1980. С. 204—322.
- [3] *Белый А.* Начало века. Воспоминания: в 3 кн. Кн. 2. М.: Худож. лит., 1990. 687 с.
- [4] *Белый А.* Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. 528 с.
- [5] *Белый А.* Собр. соч. Воспоминания о Блоке. М.: Республика, 1995. 510 с.
- [6] *Белый А.* Стихотворения и поэмы. 2-е изд. М.: Сов. писатель, 1966. (Библиотека поэта. Большая серия). 656 с.
- [7] *Блок А.А.* Собр. соч.: в 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960—1963.
- [8] Переписка Андрея Белого и А.А. Кублицкой-Пиоттух // Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903—1919. М.: Прогресс-Плеяда, 2001. С. 521—582.
- [9] *Степун Ф.А.* Памяти Андрея Белого // Воспоминания об Андрее Белом. М.: Республика, 1995. С. 162—186.
- [10] *Ходасевич В.Ф.* Андрей Белый // Некрополь. СПб.: Азбука-классика, 2001. С. 80—112.

История статьи:

Дата поступления в редакцию: 2 февраля 2017

Дата принятия к печати: 1 апреля 2017

Для цитирования:

Сарычев В.А. «Мне важен не человек, а его отношение к Тайне» (Символизм раннего Андрея Белого: теургия и этика художника) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2017. Т. 22. № 2. С. 213—227.

Сведения об авторе:

Сарычев Владимир Александрович, доктор филологических наук, профессор института филологии, кафедры русского языка и литературы Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Контактная информация: e-mail: sarychev@lipetsk.ru

“I’M INTERESTED NOT IN A MAN BUT HIS ATTITUDE TO MYSTERY” (SYMBOLISM OF EARLY ANDREI BELY: THEURGY AND ETHICS OF THE ARTIST)

V.A. Sarychev

Institute of Philology
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University
Lenin str., 42, Lipetsk, Russia, 398020

The author of the article analyzes the formation process of symbolism esthetics in creative work of A. Bely — the ideological leader of “argonaut” society. The study is based on his early theoretical publications, memoirs of his contemporaries and his own memoirs in which he doesn’t only restore the atmosphere of eschatological hopes of Moscow Solovyov-followers for “the end of the world history”

and rebirth of humans, but also subjects the ideas of “the beginning of the century” of inevitable and bitter correction. Underlining that the discovered by Bely “the antimony between private life and life in ideas” was unconquerable (the poet’s break up with N.I. Petrovskaya), the author of the article unlike his predecessors doesn’t absolve the poet (as a person and as a theoretician of theurgic symbolism) from the guilt over it.

Kew words: Andrei Bely, “argonautism”, N.I. Petrovskaya, symbolism, theurgy, “the mystery of human relationship”, ethics

REFERENCES

- [1] Belyj A. Arabeski: Kniga statej [Arabesques: The Collection of Articles]. M.: Musaget, 1911 [Moscow: Musaget, 1911]. 504 p.
- [2] Belyj A. Vospominaniya ob Aleksandre Aleksandroviche Bloke // Aleksandr Blok v vospominaniyax sovremennikov: v 2 t. T. 1 [Memoirs about A.A. Blok // Alexander Blok in Memoirs of his Contemporaries: 2 volumes. V. 1]. M.: Xudozh. lit., 1980 [Moscow: Fiction, 1980]. P. 204–322.
- [3] Belyj A. Nachalo veka. Vospominaniya: v 3 kn. Kn. 2. [The Beginning of the Century. Memoirs: 3 volumes. V.2]. M.: Xudozh. lit., 1990 [Moscow: Fiction, 1990]. 687 p.
- [4] Belyj A. Simvolizm kak miroponimanie [Symbolism as a View upon the World]. M.: Respublika, 1994 [Moscow. Republic, 1994]. 528 p.
- [5] Belyj A. Sobr. soch. Vospominaniya o Bloke [Collected Works. Memoirs about A.A. Blok]. M.: Respublika, 1995 [Moscow. Republic, 1995]. 510 p.
- [6] Belyj A. Stixotvoreniya i poemy. 2-e izd. [Verses and poems. The second edition]. M.: Sov. pisatel, 1966. (Biblioteka poeta. Bolshaya seriya) [Moscow: Soviet Writer, 1966. (Poet’s Library. A big collection)]. 656 p.
- [7] Blok A.A. Sobr. soch.: v 8 t. [Collected Works: 8 Volumes]. M.; L.: GIXL, 1960–1963 [Moscow; Leningrad: GIHL, 1960–1963].
- [8] Peregiska Andrey Belogo i A.A. Kublickoj-Piottux // Andrej Belyj i Aleksandr Blok. Peregiska. 1903–1919 [Andrei Bely and Alexander Blok. Correspondence. 1903–1919]. M.: Progress-Pleyada, 2001 [Moscow: Progress-Pleiad, 2001]. P. 521–582.
- [9] Stepun F.A. Pamyati Andrey Belogo // Vospominaniya ob Andree Belom [In Memory of A. Bely // Memoirs about Andrei Bely]. M.: Respublika, 1995 [Moscow: Republic, 1995]. P. 162–186.
- [10] Xodasevich V.F. Andrej Belyj // Nekropol. [Andrei Bely // Necropolis]. SPb.: Azbuka-klassika, 2001 [St. Petersburg: Alphabet-Classics, 2001]. P. 80–112.

Article history:

Received: 2 February 2017

Revised: 15 March 2017

Accepted: 1 April 2017

For citation:

Sarychev V.A. (2017) “I’m interested not in a man but his attitude to Mystery” (symbolism of early Andrei Bely: theurgy and ethics of the artist). *RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism*, 22 (2), 213–227.

Bio Note:

Sarychev Vladimir Alexandrovich, doctor of philological science, professor, Institute of Philology, the Russian language and literature department; Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University

Contacts: e-mail: sarychev@lipetsk.ru